

*На твоём берегу родился,
Кровью слился я с тобой.
И твой шепот в сны приходит,
Манит вечно за собой.*

Генри Дэвид Торо

*Есть обитель живых, и есть обитель мертвых; мост же
между ними — любовь. Лишь она имеет смысл, лишь она
может спасти.*

Торнтон Уайлдер



Любой другой на моем месте двинулся бы дальше не оборачиваясь и вовсе не стал бы тратить время на размышления о том, что же изменило меня в худшую сторону. Но порой в душе зарождается крохотный узелок сомнений. Медленно, с неспешностью восходящего солнца он заволакивает разум клубами тумана. *А вот надо было, ну почему я так не сделала, вот если бы.* Раз за разом я прокручиваю в голове тот день, когда отец покинул нас навсегда.

Солнце рыжими лучиками просачивалось сквозь листву дубов, папа расхаживал у крыльца, а двенадцатилетняя я наблюдала за ним, усадив на бедро еще совсем маленького брата Филиппа. Братишка ухватил в свой пухлый кулачок прядь моих темно-каштановых волос, я скривилась и аккуратно высвободила локон.

Папа ударился ногой о нижнюю ступеньку и поморщился.

— Слушай, милая. Пусть наша соседка, мисс Джолин, поможет твоей маме присмотреть за братиком. Так что, Лони Мэй? Пойдешь со мной?

Отец уже несколько месяцев не вспоминал про рыбалку, но с каждым днем все чаще метался по дому, натыкался на мебель, хлопал дверью. В доме гудело, как накануне бури.

В тот памятный день мама сказала:

— Бойд, ступай займись чем-то! Мечешься по дому как тигр в клетке.

Все бы отдала, лишь бы пойти тогда с ним, сидеть на краю трясины, зарисовывать каждое существо, что попало на глаза, наблюдать и слушать папу, как прежде. Но разве я могла? Пришлось остаться. С рождением Филиппа у меня появилось предназначение. Я сидела с братом, пока мама говорила по телефону, отдыхала или хлопотала по дому. Я умела заставить Филиппа смеяться этим икающим младенческим смехом. Возилась с ним после школы, развлекалась на выходных — и теперь он в какой-то мере стал моей летней работой. Мама больше не качала головой, коря меня за бесполезность, и не возводила глаза к небесам.

Хрустя гравием, отец пошел в гараж и достал удочку и снасти. Я сунула в рот кончик своей косы и сосала его, пока он не превратился в тонкую пику. Папа тем временем направился к концу дока: в левой руке — коробка для снастей, жилет цвета хаки обвис под тяжестью свинцовых грузил и приманок. Отец обернулся на минуту, наклонив голову так, что лицо попало на свет. Я помахала, но луч солнца ударил папе в глаза, и он не увидел. Просто повернулся к лодке, забрался в нее и уплыл.

Мы думали, отец остался с ночевкой в рыбацком лагере, в той выцветшей двухкомнатной хижине, примостившейся на илистом берегу, или отправился в патруль прямо с болот. Но настало утро понедельника, а папина отглаженная униформа отдела рыбоохраны все так же висела в шкафу.

Днем к нам в дом заглянул папин начальник, капитан Шаппель. Высокий, в форме цвета хаки, он прогрохотал ботинками по ступеням нашего крыльца. До двери дойти не успел, а мама уже открыла.

— Привет, Рут. Просто зашел узнать, Бойд прихворнул, что ли?

Мама обернулась ко мне.

— Лони, иди займись своими делами.

Судя по двум вертикальным морщинам, залегшим меж ее бровей, препираться не стоило.

Как я ни старалась, так и не смогла разобрать из кухни то, что мама с капитаном тихо обсуждали на веранде. А когда я вытерла последнюю тарелку, то услышала, как хрустит гравий под шинами отъезжающего грузовика.

Ночью похолодало, пришлось влезать в свитера, а папа так и не вернулся. Я успела лечь спать — и много времени спустя услышала голоса и вышла на лестницу.

— И как я сам не понял, — говорил мужчина, капитан Шаппель. Квадратные стеклянные панели на веранде залила темнота, пряча за собой ночное болото. Перила едва озарялись льющимся с первого этажа светом. Голос капитана казался каким-то зыбким. — Бойд последнее время был сам не свой. Мне просто в голову не могло прийти, что он...

— Нет, — перебила мама.

— Он дома не вел себя странно? Может, хандрил из-за чего? А то последние недели...

— Нет, — громче повторила она.

Капитан заговорил совсем тихо, но несколько слов все же долетели до меня: *«Утонул... намеренно... с грузом...»*

— Нет, — упрямо твердила мать.

— Мы все прикроем, Рут. Несчастные случаи на лодках — дело обычное.

— Не с моим Бойдом.

В похоронном бюро я отошла от лакированного деревянного ящика и прислушалась.

«Какая чудовищная трагедия».

«Как жаль».

«Да на лодке с кем угодно что угодно может случиться».

«Не знаешь, когда настанет твой черед».

Итак, это все же был несчастный случай. А те слова, что долетели до меня на лестнице, — просто дурной сон. После похорон мы с мамой отнесли Филиппа домой и о папе больше не упоминали. Может, если не произносить его имя, как-то забудется, что он никогда не вернется.

2

Тело весом примерно шестьдесят восемь килограмм, упавшее в воду с высоты примерно полуметра, если его утяжелить семью-девятью килограммами дополнительного груза, скажем свинцовыми гирями, будет тонуть со скоростью примерно тридцать сантиметров в секунду. Человек может биться и сопротивляться, а может отдаться на волю судьбы, пока темнота и холод не возьмут над ним верх, пока не перестанет хватать воздуха, до запоздалого сожаления, когда давление, темнота и расстояние до поверхности уже не позволят передумать. В этот момент скорость погружения становится неважной, а мелкая рыбешка приближается и начинает клевать плоть.

В стеклянном резервуаре передо мной маячит крошечная фигурка водолаза; вверх от нее поднимаются пузырьки воздуха, а рядом крутятся рыбки. Нет уж. Никогда больше не пойду в Национальный аквариум, как бы близко он ни находился к моей работе. Взгляд переходит с ныряльщика на кого-то позади меня — темноволосую молодую

женщину, что будто парит в пространстве. Я оборачиваюсь, но там никого нет. Это мое собственное отражение, выросшая я, и ее на секунду не узнала та маленькая девочка, чьи страхи имеют привычку пробираться в сознание взрослого человека, которого я из себя со временем слепила.

Кто бы мог подумать, что эти встроенные на уровне глаз в стену вестибюля офисного здания семь или восемь резервуаров невольно поставят под удар тот хрупкий безопасный мир, который я выстроила здесь, в Вашингтоне? Как бы меня ни умоляли, ихтиологам придется найти другого художника. Отныне и впредь буду рисовать только птиц.

Быстрым шагом возвращаюсь на два зала назад, в отдел естествознания, не обращая внимания на одетого в темный костюм мускулистого парня, который пытается встать у меня на пути и пыхтит: «Эй, дорогуша. Куда торопишься?» Наконец вхожу в сияющее фойе своего святилища. Не особо люблю гулять по музею, в нем вечно шумно и множество туристов, школьных экскурсий и голодных до зрелищ зевак. Их любопытство даже умиляет — они лишь песчинки в мире природы. Их ослепляет блеск мрамора, ошеломляют детали архитектуры и драгоценные артефакты.

Однако в моем нынешнем мрачном настроении сам вход в здание уже обрушивает на меня тяжесть смерти: вокруг множество экспонатов, тысячи всевозможных туш, чучел или костей, всех их извлекли из небытия, чтобы изучить, но все они мертвые.

Такие же мертвые, как птицы, которых я рисую. В эти дни мое единственное утешение — представлять, как каждая прищипленная бабочка вдруг взлетает, каждое чучело сумчатого просыпается, каждый сохранившийся

образец растения расцветает и ковром расползается по мраморному полу, словно лес, снятый в режиме замедленной съемки, и каждая птица оживает, взлетая под купол и упархивая прочь. В те дни, когда туман приходит и вгрызается в мой живот, точно острозубый паразит, лишь эти видения могут меня спасти.

Конечно, есть и более продолжительное, более материальное спасение — работа. Я могу часами рисовать, например, обыкновенную гагару с ее чернильно-черной головой, белой полосой на шее и замысловатыми точками и ломаными прямоугольниками, каскадом спускающимися поперек крыльев. При должном старании я могу превратить мертвенную неподвижность птичьего оперения в поразительное подобие жизни.

Из фойе музея я попадаю в коридор и поднимаюсь в свою студию — хорошо освещенный офис со старым металлическим столом, оттесненным в угол моим кульманом*. Вертикальные полки забиты листами чертежной бумаги и мягкими карандашами, разложенными по номерам и мягкости графита. Темные бутылки чернил соседствуют с безумным количеством перьев, рядом с ними лежат по цветам радуги тюбики краски — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и все промежуточные оттенки.

Сажусь за кульман и смотрю на Молл, огромный зеленый газон с протянувшейся по нему белой цепочкой музеев и памятников. Потребовалось девять лет, чтобы заполучить офис с видом на американские вязаы, которые вот-вот выпустят хрупкие мартовские почки, и здание Смитсоновского института. Я проработала здесь всего

* Чертежный прибор пантографной системы в виде доски, установленной вертикально или под углом. *Здесь и далее прим. пер.*

день и поняла, что обрела дом. Вчера мне исполнилось тридцать шесть, коллеги с песнями пришли сюда и настаивали, чтобы я задула свечи на маленьком торте. Они не знают, что вода поднимается. Скоро я достигну тридцати семи, любимого числа моего отца, финальной точки, которую он так и не перешагнул.

Беру кисточку. На столе — наполовину готовый рисунок кайеннской пигалицы (*Vanellus chilensis*). Головка украшена изящным черным хохолком. Делаю поярче бронзовые пятна в верхней части крыльев, затем дорисовываю серые, черные и белые участки. Для клюва потребуется кисть номер ноль. Отворачиваюсь от окна к стеллажам и перебираю чистые, аккуратно разложенные принадлежности.

Уже тружусь над самым кончиком клюва, как вдруг звонит телефон. Приходится отвлечься.

— Лони, это Фил.

На крошечную долю секунды думаю, что брат вспомнил о моем дне рождения. Но быстро возвращаюсь в реальность.

— Что-то случилось?

— Мама упала. Тебе лучше приехать. — Брат запинаясь. — И... рассчитывай, что задержишься надолго.

Она сломала запястье, продолжает Фил, но главная беда не в этом.

— Лони, она как-то странно себя ведет. У нее что-то с памятью...

— Да брось, с возрастом у всех память не очень, — перебиваю я. Да, в прошлом году мама часто на меня раздражалась, но она всегда так ко мне относилась.

— Тэмми думает, это первые звоночки деменции.

Матери всего шестьдесят два, а Тэмми, жена Фила, вовсе не специалист в области медицины или психологии.

Не желаю, чтобы невестка так легко разбрасывалась диагнозами.

— Ладно, может, сумею выкроить пару дней.

— Нет, Лони, послушай. Возьми отпуск подлиннее. Все серьезно. И ты нам нужна.

Он так редко о чем-то просит. И все же сейчас не самое лучшее время уходить в отпуск. Администрация, решив оценить эффективность сотрудников, поставила над ними кучку не ученых, а в основном менеджеров в возрасте двадцати пяти лет. Я бы сказала, что к нам пришла молодая кровь, не веди они себя так сухо и заносчиво. Полное отсутствие опыта маскируется подчеркнутой строгостью, ведь наше начальство наделило этих ребят властью. Я бы даже с пониманием отнеслась к их молодости, не задайся они целью выжить хороших специалистов.

Отвечающего за орнитологию юного мясника зовут Хью Адамсон. В прошлый понедельник он собрал персонал и разразился корпоративным напутствием, сводящимся к двум словам — «сокращение» и «уплотнение».

— Мы будем поощрять ранний выход на пенсию. Замену ушедшим искать не стоит. Любой, кто хоть как-то попытается увильнуть от работы, столкнется с последствиями.

У нас довольно свободный дресс-код, но Хью каждый день ходит в костюме. Похоже, сам еще к нему не привык — брюки натягиваются на бедрах, идеально накрахмаленная рубашка впивается в шею.

— Сокращение кадров путем отсева, — сказал он, оттягивая ворот, — не должно влиять на настроение коллектива.

Я украдкой глянула на своего босса Тео, но его постаревшее усаемое лицо даже не шелохнулось. Бюджетников трудно уволить, но, кажется, эти новые бюрократы

решили найти лазейку. А вот чего Хью и ему подобные не понимают, так это того, что строгость руководства не может мотивировать кого-либо в нашей сфере деятельности. Учреждение поощряет широкое мышление, а способность дышать необходима для прорыва науки. Университетские сотрудники буквально жизнь положили на свое дело. Но эти молодые люди — как на подбор молодые белые мужчины — не видят ничего, кроме собственной повестки.

Ныне эта повестка заточена на беспрекословное подчинение. Внезапный и продолжительный отъезд в Северную Флориду им явно не придется по вкусу.

Спускаюсь в холл посоветоваться с библиотечаршей отдела ботаники Делорес Константин. Она проработала тут последние сорок лет.

Делорес — живая память этого места и мой личный пример долгой карьеры. А еще у нее язык острый, словно стебель чертополоха.

Вдоль коридора, что ведет в отдел ботаники, выстроились шкафы, полные высушенных растений, разложенных на бескислотной бумаге. Сегодня мне кажется, будто я ступаю по оранжерее, по бокам свисают орхидеи и эпифиты, а в воздухе витает призрачный аромат влажного леса.

Захожу в библиотеку и зову:

— Делорес?

— Я здесь.

Она стоит на шатком табурете между битком набитыми рядами книжных полок. На уровне моих глаз из-под подола розовато-лиловой юбки виднеются голени в старческих пятнах. Делорес поднимает над головой два больших тома и ставит их на высокую полку.

— Ой, тебе помочь? В смысле, это разве не опасно?

Она смотрит на меня сквозь бифокальные очки «кошачий глаз», задвигает книги и спускается с табурета.

— Чего ты хотела, Лони?

Я рассказываю ей о звонке брата и о том немногом, что знаю о текущем состоянии моей матери.

Делорес не говорит: «Ой, мне так жаль».

Она просто ведет меня к своему столу, сдвигает в сторону стопку книг, даже не садясь вглядывается в экран, неловко изогнув шею, и щелкает мышкой.

— Видишь? — Указывает на что-то подруга. — Это форма FMLA. Заявление на отпуск по семейным обстоятельствам. — Она встает, выхватывает из принтера листок и протягивает мне увитой голубыми венами рукой. — Заполни, попроси восемь недель и езжай позаботиться о маме.

— Восемь? Да кто ж мне столько даст?

Делорес упирает кулак в бедро.

— Необязательно использовать всё. Черт, да ты по закону можешь взять двенадцать, если надо. Но теперь, когда у нас тут костюмы разгуливают, лучше ограничиться восьмью.

— Двух недель в родных пенатах мне предостаточно, — заверяю я.

— Уважь свою мать, Лони.

У самой Делорес где-то есть дочь, но это болезненная тема. Они редко общаются. Пару раз, когда о ней заходила речь, подруга просто пожимала плечами: «Ей не нравится, как я раздаю советы. Но те, кого ты любишь, не обязаны любить тебя в ответ». И вновь принималась за работу.

Делорес укладывает на тележку очередную кипу томов.

— Проси восемь. Если потребуется всего две, вернешься досрочно как истинный и пламенный адепт своего дела.

Она натянуто улыбается и смотрит на меня. Ее глаза за стеклами очков кажутся огромными. Вообще, странно

выбирать именно Делорес, чтобы посоветоваться насчет карьеры. Я специализируюсь на птицах, а вот подруга редко о них вспоминает. Она однажды постучала себя по черепу и заявила: «У меня там свободного места нет, милая. Сплошная ботаника, изо дня в день». Однако Делорес знает куда больше, чем кажется с виду, особенно о том, какие у нас тут порядки.

— Так что заполняй форму и иди в отдел кадров.

Именно этот совет мне и нужен. Я только успеваю дойти до дверей, как она берет очередную стопку и говорит:

— Запомни три вещи. Первое: институт не оплачивает отпуск по семейным обстоятельствам.

— Но...

— Второе: посмотри программы связей. Думаю, музей в Таллахасси заинтересуют твои услуги. Они платят напрямую, так что официально ты так и будешь числиться в отпуске.

— Программы связей?

Делорес шагает обратно к полкам.

— Посмотри.

Киваю, собираюсь уйти, но в последний момент оборачиваюсь:

— А третье?

— Возвращайся строго в срок. У нас тут Французская революция, и эти гады уже смазывают гильотину.

Возвращаюсь за свой стол, заполняю выданное Делорес заявление и штудирую университетский сайт на предмет «программ связи». Затем звоню Эстель, своей ближайшей подруге во Флориде. Она всегда мне отвечает.

— Эстель, твой музей участвует в программе по связям? С моим институтом?

— И тебе привет, Лони. Да, у меня все хорошо, спасибо, а как ты поживаешь?

Обычно она у нас всегда спешит, а я торможу. И вот единственный раз, когда это важно, Эстель хочет, чтобы я не торопила события. Буквально вижу, где она сейчас — за своим кураторским столом в Музее науки Таллахасси, и могу примерно догадаться в чем — в каком-нибудь потрясающем ярком костюме, белоснежной блузке и с затейливыми украшениями. Наверняка подруга сейчас заправила за ухо свои длинные рыжие локоны, чтобы прижать телефон к уху.

— Эстель, — молю я, — ну пожалуйста, скажи.

— Да, участвует. Сама как думаешь, чтобы моя лучшая подруга работала в Смитсоновском институте, а я никак связь не наладила? Правление утвердило программу еще полгода назад, и я тебе об этом, скорее всего, говорила.

— Да. Точно!

— Как-то у тебя в голосе маловато энтузиазма, Лони.

— Ага. Посмотри, не нужен ли вам неприкаемый художник, рисующий птиц?

— Неужто домой возвращаешься?

— Ненадолго.

— Ура! Да, кстати...

— Ты только сразу заявку не подавай, — прошу я. — Просто приятно знать, что есть такая возможность.

Уходит три дня на то, чтобы отпуск утвердили, одобрили, а я успела умаслить своего босса Тео. Он садится за стол, подписывает бумаги, затем отбрасывает ручку и проводит ладонью от сидящих усов до подбородка.

— Тео, я ненадолго, — стараюсь я успокоить начальника. — Две недели максимум.

— Угу.

— К проекту фрагментации леса вернусь. — Мы годами его разрабатывали, предстоит тщательно задокументировать всю популяцию птиц, и потребуется множество иллюстраций. — Обещаю.

Я собираю набор для рисования, крошечную коробочку для инструментов, в которую кладу свои любимые карандаши, ручку и несколько перьев, канцелярский нож, камень арканзас и больше мятых тюбиков с краской, чем мне когда-либо понадобится. Запихиваю альбом для рисования и несколько других мелочей в большую тканевую сумку, а затем выключаю свет в кабинете.

От отдела ботаники ко мне бежит моя напарница художница Джинджер. Ее долговязое тело раскачивается, а волосы мотаются туда-сюда, словно пучок укропа на ветру.

— Лони, когда ты уедешь, кто ж будет защищать меня от жуколюдов?

Вообще, отделы не слишком уважительно относятся друг к другу. Геологи у нас камнелюды, Делорес и Джинджер — траволюды, мы, орнитологи, — птицелюды, ихтиологи — рыболюды, энтомологи — жуколюды, палеонтологи — костелюды, а вот антропологи — просто антро, иначе пришлось бы звать их людолюды. Джинджер — художник-ботаник, но по большей части болтается у меня в кабинете. Либо утешает после очередного неудачного свидания, говорит, какая я красивая, как трачу время на дураков, как она завидует моим длинным прямым волосам, а то ее собственные вечно вьются от влажности... Либо жалуется на жуколюдов, как те достают ее с просьбами что-то им порисовать.

— Целых восемь недель! — стонет Джинджер.

— Да не задержусь я там настолько. — Я беру набор. — И все равно буду там работать.

После нашего разговора Эстель перезвонила и сообщила, что изыскала средства на рисовку основных птиц Флориды.

Тео выходит из своего кабинета в конце коридора и приглаживает седые усы. Льющийся в окно на крыше свет обволакивает его мягкое тело. Тео был моим наставником со времен моей первой смитсоновской экспедиции, когда наша группа ученых отправилась в грязный перуанский облачный лес в поисках *галлито де лас рокас* (*Rupicola peruvianus*), ярко-оранжевой птицы с высоким гребнем. Я тащила за Тео много миль, моя энергия почти иссякла, оставалось два глотка воды, и мне не на чем было сосредоточиться, кроме как на складках, выпирающих из-под пояса его грязных брюк цвета хаки. Я еще недоумевала, как пухлый мужик на двадцать лет старше меня может обладать такой выносливостью.

Вдруг он резко остановился и указал на птицу мандаринового цвета, которую мы, собственно, и пришли посмотреть. Без Тео я бы прошла мимо нее.

— Заполнила форму? — пытается спросить он строгим тоном.

— Да, босс.

— Получила официальное разрешение от отдела кадров?

Я киваю.

— Последнее слово? — спрашивает он.

— Не дайте им испортить мою работу.

— Просто возвращайся вовремя, Лони. Больше мне сказать нечего.

— Намек понят. — Я хлопаю его по руке, большего проявления чувств нам по регламенту не положено, затем толкаю дверь и выхожу в следующий коридор.

И там меня встречает наш чудесный Хью Адамсон. На нем ярко-красный галстук с золотым зажимом.

— Мисс Марроу, можно вас на пару слов?

Никогда не умела скрывать чувства. Боюсь, что встречу с Хью я не перенесу так стоически, как прощание с Тео. То ли большой начальник до сих пор помнит ту пару неудобных вопросов, что я посмела задать, то ли лицо меня выдает, но Хью смотрит с каким-то особенным презрением.

Он сверяется с записями.

— Мисс Марроу, вижу, вы запросили восемь недель отпуска по семейным обстоятельствам. Сегодня у нас пятнадцатое марта, значит, вернуться вы обязаны десятого мая. Пожалуйста, учтите, что десятое мая — значит десятое мая, и если явитесь на работу одиннадцатого, а не как положено, десятого мая, то нам, к сожалению, придется вас уволить.

Натягиваю улыбку, закрываю глаза и сжимаю зубы. Иначе как-то прокомментирую, сколько раз он повторил «десятое мая», а то и выскажусь, что нечего общаться со старшими как с идиотами.

Вероятно, Хью улавливает ход моих мыслей, потому что понижает свой допубертатный голос и говорит:

— Думаете, я этого не сделаю?

— Прошу прощения?

— Я вижу, как вы смотрите на меня на собраниях. Словно я мелкий говнюк и не понимаю, что делаю.

— Хью, не думаю, что...

— Лучше вам вернуться десятого мая, Лони, потому что одиннадцатого ваш зад вылетит отсюда, как из рогатки, и мы помашем вам на прощание.

Киваю и прохожу мимо нашего юного деспота. Никогда не понимала этого выражения — «вылетит как из рогатки». Вероятно, кто-то соорудил гигантскую копию

рогаток, из которых пьяные студенты стреляют шариками с водой по ничего не подозревающим прохожим. Возможно, Хью был председателем своего рогаточного братства. Может, он мечтает запулить так каждого ученого в его маленьком царстве прямиком с башни Смитсоновского института.

Чтобы восстановить душевное равновесие, я направляюсь в коридор с птичьими шкурами.

Там хранятся не чучела птиц, и выглядят они в любом случае не мило. Тем не менее мне приятно открывать широкие плоские ящики и видеть образцы, даже если они привязаны за ноги и лишены жизни, описанной в стандартном полевом справочнике. Оказывается, орнитологи одновременно и защитники природы, и убийцы, которые учатся извлекать внутренности птицы и сохранять перья. Но птичья шкура, если ее правильно обработать, может служить экспонатом еще столетие и больше. Как этот ящик, полный кардиналов: молодые особи, самцы, самки, экземпляры с зимним оперением, летним и всевозможные подвиды внутри подвидов.

Я закрываю ящик и продолжаю бродить по коридорам, впитывая флуоресцентный тусклый свет и запах консервантов. Вероятно, именно они медленно травят наши мозги, навевая странное нежелание уходить и тягу работать сверхурочно даже без оплаты. Шумные посетители музеев никогда не увидят этот лабиринт за сверкающими витринами и освещенными диорамами — им не нужно знать ни о высушенных стеблях отдела ботаники, ни о скелетах, разложенных в отделе антропологии по ящикам с этикетками: «Череп», «Бедренная кость», «Берцовая кость» и «Малоберцовая кость».

У нас в орнитологии тоже шкафы с птицами от пола до потолка, но мы хоть на части их не разбираем.

Я уже почти у камнелюдов. Толкаю стеклянную дверь, ведущую в главную ротонду, где застыло чучело слона. Я поворачиваюсь, поднимаю взгляд, устремляю его мимо балкона к куполу и шепотом возношу молитву миру природы, чтобы он помог мне вернуться в целости и сохранности задолго до десятого мая.

3

17 марта

Когда вчера я покидала Вашингтон, гуляки в зеленом шатались из паба в паб, отмечая День святого Патрика. Город — настоящий коллаж из творений природы и дел рук человеческих. Церцис и тротуары, кизил и машины. Небольшие деревца на участках уже выпустили розовые, похожие на перья лепестки.

Я оставила нежность весны позади ради жаркой, сырой зелени, пока круиз-контроль автомобиля нес меня на юг через Вирджинию и Каролину, штат Джорджия, и дальше, к тому месту, где похожая на ручку кастрюли Флорида и пляжи курорта сменяются береговой линией густых мангровых зарослей и полными рыбешек протоками. Чуть в стороне от залива, там, где вода медленно переходит в сушу, находится мой родной город Тенетки.

Я въезжаю в город, и капелька старого знакомого желания оказаться где-нибудь в другом месте разливается по моей грудной клетке. Я опускаю окна. Воздух насыщен влагой, ветер благоухает дождем. Останавливаюсь перед одним из шести светофоров в Тенетки

и роюсь в подстаканнике в поисках резинки, которой можно стянуть волосы с липкой шеи. На третьем светофоре я въезжаю на стоянку больницы Святой Агнессы, или, как мы, дети, ее называли, Дворца престарелых. Хотела бы я, чтобы это действительно был дворец, ради блага моей матери. У здания прянично-нарядный викторианский фасад с бетонным пандусом, ведущим к раздвижным стеклянным дверям.

Сижу на парковке и наблюдаю, как автоматические двери открываются, если кто-то приближается, и закрываются, когда человек проходит. Я смотрю на себя в зеркало заднего вида, расчесываю волосы и прячу веснушки под макияжем. Редко пользуюсь тональным кремом, но мне бы не хотелось, чтобы мама с порога советовала мне «привести себя в порядок». Толку от моих усилий мало — косметика просто образует бежевые капельки пота, которые я вытираю салфеткой. По крайней мере, мои глаза выглядят нормально — белки четко выделяются на фоне зеленых радужных оболочек. Думала, они будут налиты кровью, учитывая количество часов за рулем.

Сижу еще несколько минут, глядя на здание.

Поскольку мама сломала запястье, ее отправили в больницу Святой Агнессы на физио- и трудотерапию. Фил намекнул по телефону, что, возможно, мать останется там навсегда. Я была настроена скептически, но брат сообщил, какой хаос творится в доме. Как-то с трудом верилось, что моя привередливая мать могла такое устроить: открытые контейнеры с едой в бельеовом шкафу и грязная одежда, засунутая в ящики комода, брошенные включенными горелки, полуночные блуждания по соседским дворам и упорное желание продолжать водить автомобиль даже после нескольких ощутимых аварий. В прошлом году, когда я гостила здесь

несколько дней, ничего такого не происходило. Но полагаю, пока запястье мамы заживает и она выздоравливает во Дворце престарелых, мы с Филом можем во всем разобраться.

Когда я прихожу в палату, мать сидит в виниловом кресле, ее рука в гипсе и на перевязи.

— Так, Лони, вези меня домой, — с ходу начинает она голосом, полным звонких мятных нот стареющей дебютантки и скрежета медных гвоздей.

Никаких *«Привет, милая, давно не виделись, как я тебе рада»*. Никаких слез или поцелуев.

— Привет, мам! Давно не виделись!

— Не переводи тему, пришла меня забирать — так забирай!

Жена Фила, Тэмми, парикмахер, уложила мамины волосы в два жестко залакированных локона размером с суповую банку; они поднимаются на дюйм выше макушки, седые кончики изгибаются вниз и касаются висков.

Моя невестка, сама того не понимая, придала моей матери вид полярной совы *Aegolius funereus*. Если, как утверждает Тэмми, она подбирает каждую прическу к личности клиента, о чем может свидетельствовать эта? О мудрости? О бессоннице? Об охотничьем инстинкте?

Мама встает.

— Сумочку я взяла, пошли.

Оглядываю палату, ищу, чем бы ее отвлечь.

— Ой, гляди! Тэмми повесила там твою свадебную фотографию.

— Да, — отвечает мать, — и когда я поведаю отцу, как вы меня тут заперли, он на вас живого места не оставит.

У меня на миг перехватывает дыхание. Она говорит о папе... в настоящем времени. Мама не просто спутала

годы, но и нарушила неписаное семейное правило: никогда не упоминать об отце. «Живого места не оставит?» Так бы выразился он, не она.

Мать открывает здоровой рукой дверь ванной.

— Сейчас волосы поправлю, и пойдем. — Она хлопает створкой сильнее, чем нужно.

На кровати стоит открытый чемодан, содержимое будто ложкой перемешали. Мама собиралась домой, но я возвращаю все обратно, вешаю блузу в спартанский шкаф, складываю и распределяю прочие вещи по ящикам комода. И уже хочу закрыть пустой чемодан и убрать его под кровать, но вижу в эластичном боковом кармане клочок розовой бумаги и достаю его.

*Дорогая Рут,
мне нужно кое-что сказать тебе о смерти Бойда.*

Бойда, нашего отца, который не попал в рай. Пере-
скакиваю к подписи. Генриетта. Еще раз читаю первую строчку, вглядываюсь в кудрявый почерк.

Пошли слухи... Я тогда не могла тебе сказать...

Мама выходит из ванной; я прячу записку в задний карман джинсов, а сама ногой запикиваю чемодан под кровать.

— В этом заведении ни единой ватной палочки не сыщешь! — жалуется мать.

— О, давай я принесу.

Выбегаю за дверь, пока мама не вспомнила о своем намерении вернуться домой. Аптека всего в трех кварталах отсюда — в полутора, если срезать через парк, — а по пути можно прочесть записку. Стеклянная дверь

отъезжает в сторону, я выхожу на жару и едва не врезаюсь в высокого, крепкого мужчину.

— Ну привет, Лони Мэй.

Упираюсь взглядом в обтянутую униформой рыб-охраны грудь, и сердце бьется чаще. Поднимаю голову и смотрю в лицо мужчине. Он на год или два старше мамы, но волосы еще темные, да и в принципе на свой возраст не выглядит. На лице мужчины расплывается широкая сияющая улыбка.

— Капитан Шаппель! — Я обнимаю старого знакомого. — Ой. Простите. Вы меня враспloch застали. Никто не звал меня Лони Мэй с тех пор... как папа...

— Понимаю. — Он молчит. — И меня не отпускает утрата Бойда, сколько бы лет ни прошло.

Звук папиного имени словно резкий сигнал машины. Во время своих кратких визитов домой я редко пересекалась с приятелями отца.

— Куда идешь? — спрашивает Шаппель. — Я соби-рался навестить твою маму, но пройду с тобой немно-го. — Мы вместе спускаемся по бетонному пандусу. — Слыхал, ты на север перебралась.

Я кратко рассказываю о Вашингтоне и институте, а сама разглядываю бывшего папиного начальника. А он до сих пор крепкий, и осанка прямая.

Отец однажды сказал, что доверил бы Шаппелю соб-ственную жизнь.

— Ребятишки есть? — вдруг спрашивает капитан.

Солнце светит ему в спину, и я щурюсь.

— Простите?

— Ну, дочки-сыночки?

— А, нет, сэр.

— Замуж вышла?

— Нет, сэр. Пока нет.

— И тебе по душе этот твой Вашингтон?

— Да, сэр.

«Да, сэр. Нет, сэр». Говорю как ребенок. Только теперь к южным манерам добавился флоридский акцент.

— Жаль, что с твоей мамой такое, — замечает он. — Только я подумал, что возраст нас не догонит.

— Ну уж вас-то не догнал.

— А я его отпугиваю, каждый день в спортзал хожу! — Капитан шлет мне свою обаятельную улыбку.

Прихожу в себя и вспоминаю, чему учила меня мать: *«Спроси у него, как его дела».*

— Эм... а как ваши дети?

— Гм. — Шаппель опускает взгляд. — От Шари новостей особо нет. Уехала в Алабаму. А Стиви... — Он сглатывает. — Стиви погиб... авария... в январе еще... — Капитан останавливается и сжимает губы.

Зараза, ну конечно, я об этом слышала — лобовое столкновение, Стиви только что вышел из реабилитационного центра, его машина летела по встречке.

— О нет. Мне так жаль.

Шаппель делает вдох, пытается совладать с собой.

— Остался я один в доме, — говорит он глухо. — После работы тягаю железо, чтобы не раскисать, а потом до темна вожусь во дворе. — Его лицо чуть светлеет. — Не хочешь посмотреть мой сад? Твоя мама всегда растения любила. И ты помнишь, где я живу.

— Да, сэр, помню. — Ну вот опять. Малышка Лони отвечает взрослому дяде. Во Флориде со мной вечно так.

— Тогда заглядывай, слышишь? Лучше всего в понедельник. Понедельник у меня теперь выходной — гибкий график, знаешь ли. — Он указывает на меня пальцем. — Так когда ты придешь?

— Эм... в понедельник?

— Молодец.

Мы подходим к аптеке, и он смотрит на часы.

— Ладно, расстанемся здесь, пойду навещу твою маму. Если я уйду от нее до того, как ты вернешься, увидимся в понедельник, хорошо? — Шаппель уходит, а я покачиваюсь, точно лодка в оставленном на воде следе.

Открываю стеклянную дверь аптеки с выцветшей наклейкой — пингвин в окружении сосулук. «Здесь ХОЛОДНО», — гласит она, напоминая о временах, когда кондиционеры были редким чудом. Я покупаю маме ватные палочки, расплачиваюсь и ухожу. Снова стою под неумолимым солнечным светом, сжимая упаковку так сильно, что пластик прогибается. Ненавижу возвращаться домой. Каким бы коротким ни был визит, это место всегда напоминает мне об отце.

Главная улица пуста, слишком жарко. Я прохожу мимо агентства недвижимости Элберта Перкинса с закрытыми вертикальными жалюзи. Затем мимо магазина платьев Велмы, где на зеркальном стекле висит потрепанный желтый целлофан, окрашивая черно-белое выпускное платье без бретелек на манекене в оттенки сепии, точно снимок из старой газеты.

«И как я сам не понял, — сказал молодой капитан Шаппель моей матери той непривычно холодной ночью, когда мне было двенадцать. — Он дома не вел себя странно? Может, хандрил из-за чего? А то по всем карманам были свиновые грузила...»

Отворачиваюсь от магазина Велмы.

На другой стороне улицы возвышаются фальшивые колонны ратуши в стиле Георгианской эпохи — попытка изобразить размах, который никак не вяжется с маленьким Тенетки. По диагонали от нее, бросая вызов любому намеку на архитектурное единство, примостилась

бухгалтерская фирма моего брата, фасад которой блестит дымчатым стеклом и металлической отделкой, богатством, заимствованным, как я подозреваю, у юристов, которые делят с ними здание. Я иду к нему. Стремительная карьера Фила, несомненно, связана с уверенностью безусловно любимого ребенка. Ему всего двадцать четыре, а он уже присоединился к международному клубу обслуживания «Киванис», дал о себе знать тузам города и занялся гольфом — в общем, сделал все необходимое, чтобы заполучить максимальное количество клиентов-бухгалтеров в этом городе и за его пределами.

Фил обладает тем, что люди называют обаянием. Оно точно не фальшивое, но я знаю брата лучше, чем прочие. Мне хочется потянуть блестящую квадратную ручку двери его причудливого здания и крикнуть внутри: «Сам решай проблему! Я не просто так покинула этот город!» Но тогда партнеры Фила и соседи-адвокаты поднимут головы и станут бормотать: *«Надо же, какая у него сестра чудная. Нуво-янки. Думает, что она большая шишка»*. Поэтому я передумываю и вместо этого перехожу улицу.

Дым жареного лука окутывает меня, когда я прохожу мимо закусочной F&P Diner, над чьим названием шутило несколько поколений детей. Как, наконец, объяснил мне в десятом классе хихикающий мальчик, что сидел позади меня на английском: «Ну F и P, разве ты не понимаешь? От их бобов и печенья твоя задница будет издавать те же звуки».

— Фу! — воскликнула я и заработала сердитый взгляд от миссис Эббот. Она была новенькой в городе и носила пояс, который превращал ее двойное платье в трехъярусный торт. Мы читали «Зиму тревоги нашей». Стейнбек приводил миссис Эббот в восторг.

Она спросила нас, что мы думаем о конце книги, и я подняла руку.

— Не понимаю, — сказала я, — что он делал в том месте. Было ли оно связано с пристанью? И зачем взял с собой бритвенные лезвия?

Уже сердясь на то, что я болтала в классе, миссис Эббот затрясла толстыми щеками.

— Он собирается покончить жизнь самоубийством.

— Нет же! — Я перевернула страницы. — Посмотрите сюда... страница двести девяносто восемь... Он говорит: «Я должен вернуться». — Я с горящим лицом уставилась на миссис Эббот. — Так что вы *неправы*. Он возвращается домой к детям.

— Юная леди, встаньте, — прищурилась учительница. — Не смейте говорить со мной в подобном тоне. Пожалуйста, покиньте класс.

Это означало: *«Иди в кабинет директора и ожидай там своей незавидной участи»*.

В дверях я повернулась и бросила последний взгляд на Эстель, и та сочувственно скривила рот. Миссис Эббот подталкивала меня, как призового теленка, и вместе с ней я потопала по унылым черно-белым плиткам к тому, что мы назвали «Чистилище училища».

Пока миссис Эббот беседовала с директрисой, я с колющимся сердцем сидела в коридоре. Учительница вышла, и я приготовилась к лекции, наказанию и еще одной лекции. Вместо этого миссис Эббот неловко взяла меня за руки своими пухлыми ладонями.

— Прости, Лони. Мне так жаль.

В тот день я прошагала по коридору, хлопнула шкафчиком и проглотила свой несъедобный ланч, и вдруг меня осенило: другие люди знают что-то, чего не знаю я. До тех пор я заставляла себя забыть слова, что долетели

на верхний этаж в тот день, когда мой отец не вернулся домой. *«Преднамеренно... грузила... не в себе...»* Потом все говорили о несчастном случае, а значит, капитан Шаппель имел в виду не то, что я подумала. Должно быть, он сказал *«непреднамеренно»*.

Но вот тогда, четыре года спустя после трагедии, все вдруг сложилось.

Ни один человек в городе больше себя так не разубеждал. Глупое сочувствие учительницы показало мне, что и она, и директор, и каждый засаленный пубертатный школьник, спешащий мимо меня в коридоре, проводили знак равенства между моим отцом и тем парнем с лезвиями из книги Стейнбека. Вот только персонаж романа вернулся домой.

Наша церковь учила: суицидники попадают прямоком в ад, а не проскакивают участок и не получают две-сти долларов, как в «Монополии». Нам страховку выпла-тили. А что с раем? Апостол Петр видел бланк с пометкой *«Несчастный случай»*?

Возвращаюсь в больницу и вручаю матери палочки.

— Лони, как хорошо, что ты пришла. Послушай, я заболела. — Она с трудом дышит. На палочки даже не смотрит. — Слышишь? Мокрота в легких. Как в следу-ющий раз пойдете с папой на болота, скажи, чтобы он принес мне листья восковницы. Не надо весь куст, про-сто горсть листьев. Сделаю ингаляцию.

Что с ней, помутнение рассудка? Я вспоминаю о папе, и она вдруг о нем вспомнила? Ей кажется, что он просто отлучился. Тогда мне, получается, сколько? Десять-одиннадцать лет?

Возвращаю нас обеих в реальность.

— Мам, я тебе ватные палочки принесла.

Как же наше правило? Не упоминать отца. Правила надо соблюдать.

— Восковница при мокроте — первейшее средство, — отвечает мать.

Народные рецепты не притворство, она выучилась им у папиной матери, бабули Мэй. Но изначально мама вовсе не интересовалась травами. В шестнадцать она дебютировала в Таллахасси в белых перчатках и вечернем платье, танцевала с папой котильон. Оба ее родителя были профессорами — дед в области зоологии, бабушка в классической литературе — и прочили ей карьеру концертирующей пианистки. Брак с моим отцом положил конец всему.

Бабушка Лорна отвела лекцию по философскому подходу в Древней Греции и потратила час на дорогу в Тенетки, чтобы сказать: «Рут, даже если выходишь за Бойда, ты не обязана мимикрировать под него».

Но моя мама приспособилась к сельской жизни и почерпнула больше знаний о травах и садоводстве у све-крови, чем у собственной матери о выращивании роз.

Теперь, стоя в небольшой палате, она говорит:

— Так передай папе насчет восковницы, хорошо? — Затем оседает на виниловый стул. — Он больше ко мне не приходит.

Ага, ко мне тоже. И хорошо.

Я быстро гоню эту мысль. Ничего хорошего в его ухе не было, нелепое бессмысленное событие, что выбило почву у нас из-под ног.

— Мам, мне пора. Заскочу завтра. — Целую ее в щеку, легко и без лишних эмоций. Похоже, мать и правда нездорова, иначе не допустила бы таких вольностей.

— То есть мне придется спать здесь? — встревоженно переспрашивает она.

В глубине души мне хочется забрать ее из этой комнаты размером с кухню и привезти обратно в дом на болоте

со скрипучим крыльцом, верандой и стоящим поодаль гаражом, пропахшим мульчей и глиняными горшками.

— Да, — говорю я. — Поспишь здесь. Пока запястье не заживет. — Сносная ложь. Я поворачиваюсь к двери.

— А что у тебя в кармане? — спрашивает мать.

Прикрываю ладонью задний карман джинсов. Записка. Совсем позабыла ее перечитать.

— А, это... список покупок. — Еще одна ложь. — До завтра!

На сей раз, когда дверь больницы закрывается за мной, я достаю и разворачиваю розовый листок.

*Дорогая Рут,
мне нужно кое-что сказать тебе о смерти Бойда.*

Пошли слухи, думаю, они тебя заделали. Тогда я не могла тебе сказать, но теперь настало время. Если ты не против, я загляну на день или два, поговорим.

Твоя Генриетта

Генриетта. Пытаюсь вспомнить человека с таким именем. Тщетно.

Складываю записку, схожу с пандуса и возвращаюсь на парковку.

Ко мне приближается мужчина с тонкими белыми волосами и неровной серой щетиной, как-то даже шустро для его возраста. Разве пациентам не положено оставаться внутри? Он кричит мою фамилию:

— Эй! Марроу! — И внезапно застывает мне путь. — Поберегись, а то закончишь, как твой папаша, лицом вниз в болоте.

Я резко втягиваю воздух.

— Проваливай из города, девчонка, — рычит незнакомец, точно зверь.